

В. КОРОЛЕНКО

ЛЕС
ШУМИТ



В. Г. КОРОЛЕНКО

ЛЕС ШУМИТ

ПОЛЕССКАЯ ЛЕГЕНДА

1941

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУТОР» А. Г. ВИННИЧУК,
ПРАГА XI, ЯГЕЛОНСКАЯ 24.

Было и быльём поросло.

I.

Лес шумел . . .

В этом лесу всегда стоял шум — ровный, протяжный, как отголосок дальнего звона, спокойный и смутный, как тихая песня без слов, как неясное воспоминание о прошедшем. В нём всегда стоял шум, потому что это был старый, дремучий бор, которого не касались ещё пила и топор лесного барышника. Высокие столетние сосны с красными могучими стволами стояли хмурую ратью, плотно сомкнувшись вверху зелёными вершинами. Внизу было тихо, пахло смолой; сквозь полог сосновых иголок, которыми была усыпана почва, пробились яркие папоротники, пышно раскинувшиеся причудливою бахромой и стоявшие надвжимом, не шелухнув листом. В сырых уголках тянулись высокими стеблями зелёные травы; белая кашка склонялась отяжелёнными головками, как будто в тихой истоме. А вверху, без конца и перерыва, тянул лесной шум, точно смутные вздохи старого бора.

Но теперь эти вздохи становились всё глубже, сильнее. Я ехал лесною тропой, и, хотя неба мне не было видно, но по тому, как хмурился лес, я чувствовал, что над ним тихо подымается тяжёлая туча. Время

было не раннее. Между стволов кое-где пробивался ещё косой луч заката, но в чащах расплзались уже мгlistые сумерки. К вечеру собиралась гроза.

На сегодня нужно было уже отложить всякую мысль об охоте; в пору было только добраться перед грозой до ночлега. Мой конь постукивал копытом в обнажившиеся корни, храпел и настораживал уши, прислушиваясь к гулко щёлкающему лесному эхо. Он сам прибавлял шаг к знакомой лесной сторожке.

Залаяла собака. Между поредевшими стволами мелькают мазаные стены. Синяя струйка дыма вьётся под нависшею зеленью; покосившаяся изба с лохматою крышей приютилась под стеной красных стволов; она как будто встает в землю, между тем как стройные и гордые сосны высоко покачивают над ней своими головами. Посредине поляны, плотно примкнувшись друг к другу, стоит кучка молодых дубов.

Здесь живут обычные спутники моих охотничьих экскурсий — лесники Захар и Максим. Но теперь, повидимому, обоих нет дома, так как никто не выходит на лай громадной овчарки. Только старый дед, с лысою головою и седыми усами, сидит на заваленке и ковыряет лапоть. Усы у деда болтаются чуть не до пояса, глаза глядят тускло, точно дед всё вспоминает что-то и не может припомнить.

— Здравствуй, дед! Есть кто-нибудь дома?

— Эге! — мотает дед головою. — Нет ни Захара, ни Максима, да и Мотря побрела в лес за короной . . . Корова куда-то ушла, — пожалуй, медведи . . . задрали . . . Вот оно как, нет никого!

— Ну, ничего. Я с тобой посижу, обожду.

— Обожди, обожди, — кивает дед, и пока я подвя-

зываю лошадь к ветви дуба, он всматривается в меня слабыми и мутными глазами. Плох уж старый дед: глаза не видят и руки трясутся.

— А кто ж ты такой, хлопче? — спрашивает он, когда я подсаживаюсь на заваленке.

Этот вопрос я слышу в каждое своё посещение.

— Эге, знаю теперь, знаю, — говорит старик, принимаясь опять за лапоты. — Вот старая голова, как решето, ничего не держит. Тех, что давно умерли, помню, — ой, хорошо помню! А новых людей всё забываю . . . Зажился на свете.

— А давно ли ты, дед, живёшь в этом лесу?

— Эге, давненько! Француз приходил в царскую землю, я уже был.

— Много же ты на своём веку видел. Чай, есть чего рассказать.

Дед смотрит на меня с удивлением.

— А что же мне видеть, хлопче? Лес видел . . . Шумит лес, шумит и днём и ночью, зимою шумит и летом . . . И я, как та деревина, век прожил в лесу и не заметил . . . Вот и в могилу порá, а подумаю иной раз, хлопче, то и сам смекнуть не могу: жил я на свете или нет . . . Эге, вот как! Может, и вовсе не жил . . .

Край тёмной тучи выдвинулся из-за густых вершин над лесною поляной; ветви замыкавших поляну сосен закачались под дуновением ветра, и лесной шум пронёсся глубоким усиленным аккордом. Дед поднял голову и прислушался.

— Буря идёт, — сказал он через минуту. — Это вот я знаю. Ой-ой, заревёт ночью буря, сосны будет ломать, с корнем выворачивать станет! . . . Заиграет лесной хозяин . . . — добавил он тише.

— Почему же ты знаешь, дед?

— Эгэ, это я знаю! Хорошо знаю, как дерево говорит . . . Дерево, хлопче, тоже боится . . . Вот осина, проклятое дерево, всё что-то лопочет, — и ветру нет, а она трясётся. Сосна на бору в ясный день играет-звенит, а чуть подымется ветер, она загудит и застонет. Это ещё ничего . . . А ты вот слушай теперь. Я хоть глазами плохо вижу, а ухом слышу: дуб зашумел, дуба уже трогает на поляне . . . Это к буре.

Действительно, кучка невысоких коряжистых дубов, стоявших посредине поляны и защищённых высокою стеною бора, помахивала крепкими ветвями, и от них нёсся глухой шум, легко отличаемый от гулкою звона сосен.

— Эгэ! слышишь ли, хлопче? — говорит дед с детски-лукавою улыбкой. — Я уже знаю: тронуло этак вот дуба, значит *хозяин* ночью пойдёт, ломать будет . . . Да нет, не сломает! Дуб — дерево крепкое, не под силу даже хозяину . . . вот как!

— Какой же хозяин, деду? Сам же ты говоришь: буре ломает.

Дед закивал головой с лукавым видом.

— Эгэ, я ж это знаю! . . . Нынче, говорят, такие люди пошли, что уже ничему и не верят. Вот оно как! А я же его видел, вот, как тебя теперь, а то ещё лучше, потому что теперь у меня глаза старые, а тогда были молодые. Ой-ой, как ещё видели мой глаза смолоду! . . .

— Как же ты его видел, деду, скажи-ка?

— А вот, всё равно, как и теперь: сначала сосна застонет на бору . . . То звенит, а то стонать начнёт: о-ох-хо-о . . . о-хо-о! — и затихнет, а потом опять, потом опять, да чаще, да жалостнее. Эгэ, потому что

много её повалит хозяин ночью. А потом дуб заговорит. А к вечеру всё больше, а ночью и пойдёт крутить: бегает по лесу, смеётся и плачет, вертится, пляшет и всё на дуба налегает, всё хочется вырвать . . . А я раз осенью и посмотрел в оконце; вот ему это и не по сердцу: побежал к окну, тар-рах в него сосновою корягой: чуть мне всё лицо не искалечил, чтоб ему было пусто; да я не дурак — отскочил. Эге, хлопче, вот он какой сердитый! . . .

— А какъв же он с виду?

— А с виду он всё равно, как старая верба, что стоит на болоте. Очень похож! . . . И волосы — как сухая оме́ла, что вырастает на деревьях, и борода тоже, а нос — как здоровенный сук, а морда корявая, точно поросла лишайми . . . Тьфу, какой некрасивый! Не дай же Бог ни одному крещеному на него походить . . . Ей-Богу! Я-таки в другой раз на болоте его видел, близко . . . А хочешь, приходи зимой, так и сам увидишь его. Взойди туда, на гору, — лесом та гора поросла, — и полезай на самое высокое дерево, на верхушку.

Вот оттуда иной день и можно его увидеть: идёт он белым столбом поверх лесу, так и вертится сам, с горь в долину спускается . . . Побезит, побезит, а потом в лесу и пропадёт. Эге! . . . А где пройдёт, там след белым снегом устилает . . . Не веришь старому человеку, так когда-нибудь сам посмотри.

Разболтался старик. Казалось, оживлённый и тревожный говор леса и нависшая в воздухе гроза возбуждали старую кровь. Дед кивал головой, усмехался, моргал выцветшими глазами.

Но вдруг будто какая-то тень пробежала по выс-

кому, изборождённому морщинами лбу. Он толкнул меня локтем и сказал с тайнственным видом:

— А знаешь хлопче, что я тебе скажу? . . . Он, конечно, лесной хозяин — мерзённая тварюка, это правда. Крещёному человеку обидно увидать такую некрасивую харю . . . Ну, только надо о нём правду сказать: он зла не делает . . . Пошутить с человеком, пошутит, а чтоб лихо делать, этого не бывает.

— Да как же, дед, ты сам говорил, что он тебя хотел ударить корягой?

— Эге, хотел-таки! Так то ж он рассердился, зачем я в окно на него смотрю, вот оно что! А если в его дела носа не совать, так и он такому человеку пакости не сделает. Вот он какой, лесовик! . . . А знаешь, в лесу от людей страшнее дела бывали . . . Эге, ей-Богу!

Дед наклонил голову и с минуту сидел в молчании. Потом, когда он посмотрел на меня, в его глазах, сквозь застлавшую их тусклую оболочку, блеснула как будто искорка проснувшейся памяти.

— Вот я тебе расскажу, хлопче, лесную нашу бивальщину. Было тут раз, на самом этом месте, давно. . . Помню я . . . ровно сон, а как зашумит лес погромче, то и всё вспоминаю . . . Хочешь, расскажу тебе, а?

— Хочу, хочу, деду! Рассказывай!

— Так и расскажу же, эге! Слушай вот!

II.

У меня, знаешь, батюко с матерью давно померли, я ещё малым хлопчиком был . . . Покинули они меня на свете одного. Вот оно как со мною было, эге! Вот

громáда и думáет: «что́ же нам тепёрь с ётим хлопчико́м дéлать?» Ну, и пан то́же себе́ думáет . . . И пришёл на тот раз из лесу лесник Ромáн, да и говорíт громáде: «Дáйте мне ётого хлопца в сторо́жку, я его́ б́ду корми́ть . . . Мне в лесу́ веселее́, и ему́ хлеб» . . . Вот он как говорíт, а громáда ему́ отвеча́ет: «бери!» Он и взял. Так я с тех са́мых пор в лесу́ и оста́лся.

Тут меня́ Ромáн и вы́кормил. Ото́ ж человек был како́й стра́шный, не да́й Го́споди! . . . Рóсту большо́го, глаза́ чёрные, и душа́ у него́ тёмная из глаз глядéла, потому́ что всю жизнь ётот человек в лесу́ оди́н жил: медведь ему́, лю́ди говорíли, всё равнó, что брат, а волк — племянник. Всякого́ зве́ря он знал и не боя́лся, а от люде́й сторонíлся и не глядёл да́же на ни́х . . . Во́т он како́й был — ей Бо́гу, пра́вда! Бывáло, как он на меня́ глянет, так у меня́ по спине́ б́дто ко́шка хвостóм поведёт . . . Ну, а человек был всё-таки дóбрый, кормил меня́, не́чего сказа́ть, хоро́шó: кáша, бывáло, грéчневая всегда́ у него́ с са́лом, а когдá утку убьёт, так и у́тка. Что пра́вда, то уже́ пра́вда, кормил-таки.

Так мы и жи́ли вдвоём. Ромáн в лес уйдёт, а меня́ в сторо́жке запрёт, что́бы зве́рюка не съéла. А по́сле дáли ему́ «жинку» Окса́ну.

Пан ему́ жинку дал. Призва́л его́ на село́, да и говорíт: «Во́т что, говорíт, Ромáсю, жени́сь!» Говорíт па́ну Ромáн сначáла: «А на како́го же мне б́са жинка? Что мне в лесу́ дéлать с ба́бой, когдá у меня́ уж и без того́ хлопец есть? Не хочú я, говорíт, жени́ться!» Не привы́к он с дéвками вози́ться, во́т что! Ну, да и пан то́же хитрый был . . . Как вспóмню про ётого па́на, хлопче, то и подумáю себе́, что тепёрь уже́ таки́х нéту,

— нѣту такихъ панѳвъ бѳльше, — вѳвелись. . . Вотъ хоть бы и тебя взять: тѳже, говорятъ, и ты панскогорѳду . . . Мѳжетъ, онѳ и правѳда, а-таки нѣтъ в тебѳ ѳтого . . . настоящаго . . . Такъ себѳ, мизѳрный хлопчѳна, бѳльше ничѳго.

Ну, а тотъ настоящѳй былъ, изъ прѳжнихъ . . . Вотъ, скажѳ тебе, такѳе на свѳте вѳдится, что сотни людѳей одногѳ челѳвека бѳятся, да ещѳ какъ! . . . Посмотри ты, хлопчѳ, на ѳстреба и на цыплѳнка: ѳба изъ яйцѳ вѳлупились, да ѳстреб сейчѳс вверхъ норѳвитъ, эгѳ! Какъ крикнетъ в нѳбе, такъ сейчѳс не тѳ что цыплѳта — и старѳе петухѳ забѳгаютъ . . . Вотъ же ѳстреб — панская птица, а кѳрица — простѳя мужѳчка . . .

Вотъ, помню, я малѳм хлопчѳикомъ былъ: везѳтъ мужѳики изъ лесу толстые брѳвна, челѳвѳкъ, мѳжетъ-быть, тридцать. А пан ѳдин на своѳмъ кѳнике ѳдетъ да усы крутитъ. Конѳкъ подъ нѳмъ играѳтъ, а онъ кругѳмъ смѳтритъ. Ой-ѳй! завѳдятъ мужѳики пана, тѳ-то забѳгаютъ, лошадеѳ в снегъ свѳрачиваютъ, сѳми шѳпки снимаѳютъ. Пѳсле скѳлько бѳются, изъ снѳга брѳвна вывѳзятъ а пан себѳ скачетъ, — вотъ емѳ, видишь ты, и одномѳ на дѳрѳге тѳсно! Поведѳтъ пан брѳвѳю — ужѳ мужѳики бѳятся, засмеѳтся — и всемъ вѳсело, а нахмурился — все запѳчалаются. А чтѳбы кто пану могъ перѳчить, тогѳ, почитаѳй, и не бывѳло.

Ну, а Ромѳнъ, извѳстно, в лесу вѳрос, ѳбрацѳния не знаѳл, и пан на негѳ не ѳчень серѳдилъ.

— Хѳчѳ, — говорѳтъ пан, — чтѳбъ ты женился, а зачѳмъ, про тѳ я самъ знаѳю. Берѳ Оксиану.

— Не хѳчѳ я, — отвѳчал Ромѳнъ, — не наѳдо мне еѳ, хоть бы и Оксиану! Пускаѳй на неѳ чѳртъ женѳтся, а не я . . . Вѳтъ какъ!

Велѳлъ пан принѳсти канчѳки, растѳянуѳли Ромѳна, пан егѳ спрашиваетъ:

— Бúдешь, Ромán, жениться?

— Нет, — говорит, — не бúду.

— Сыпьте ж ему, — говорит пан, — в мотню*), сколько влезет.

Засыпали ему-таки не máло; Ромán на чтó уж здоров был, а всё ж ему надоело:

— Бросьте уж, — говорит, — бúдет-таки! Пускай же её лúчше все чёрти возьмút, чем мне за бабу стóлько мýки принимáть. Дáвайте её сюда, бúду жениться!

Жил на дворé у пána доезжáчий Опанás Швídкий. Приехал он на ту порóу с пóля, как Ромána к женитьбе заохáчивали. Услышал он про Ромáнову бедú — бúх пáну в нóги. Такй упáл в нóги, целúет . . .

— Чем, — говорит, — вам, милоственный пан, чело-вэка мордовáть, лúчше я на Оксáne женюсь слóва не скажú . . .

Эгé, сáм-таки захотéл жениться на нéй. Вот какóй человек был, ей-Бóгу!

Вот Ромán бýло обрадовался, повеселéл. Встал нá ноги, завязáл мотню и говорит:

— Вот, — говорит, — хорошó. Тóлько чтó бы тебе, челове́че, порáньше немногó приехать? Да и пан тóже — всегдá вот так! . . . Не расспросить же бýло тóлком, мóжет, кто охóтой жéнится. Сейчáс схватили человека и давай ему сыпать! Рáзве, говорит, этó по-христиáнски так дéлать? Тьфу! . . .

Эгé, он порóй и пáну спúску не давал. Вóт какóй был Ромán! Когдá уж осёрдится, то к нему, бывáло, не подступáйся, хотя бы и пан. Ну, а пан был хитрый!

*) Украинцы нóсят холщёвые штаны, врóде мешкá, раз-двоённого тóлько внизú. Этот-то мешóк и назывáется «мотнёю».

У него́, ви́дишь, друго́е на уме́ было. Велёл опять Рома́на растяну́ть на траве́.

— Я, — говори́т, — тебе́, дураку́, сча́стья хочу́, а ты нос воро́тишь. Тепе́рь ты оди́н, как медве́дь в берлоге́, и зае́хать к тебе́ не ве́село . . . Сы́пьте ж ему́, дураку́, пока́ не ска́жет: дово́льно! . . . А ты, Опана́с, ступа́й себе́ к чо́ртовой ма́тери. Тебя́, говори́т, к обе́ду не зва́ли, так сам за стол не сади́сь, а то ви́дишь, ка́кое Рома́ну угоще́нье! Тебе́ как бы того́ же не́ было.

А Рома́н уж и не на шу́тку осерди́лся, эге́! Егó ду́ют-таки хорошо́, потому́ что пре́жние лю́ди, зна́ешь, уме́ли сла́вно канчу́ками шку́ру спуска́ть, а он лежи́т себе́ и не говори́т: дово́льно! До́лго терпе́л, а все́-таки по́сле плю́нул:

— Не дождёт её ба́тько, чтоб из-за ба́бы христиани́ну вот так сы́пали, да ещё и не счита́ли. Дово́льно! Что́б вам ру́ки поотсы́хали, би́сова дво́рня! Научи́л же вас чо́рт канчу́ками рабо́тать! Да я ж вам не сно́п на току́, чтоб меня́ вот та́к молоти́ли. Коли́ та́к, так во́т же и жени́сь.

А пан себе́ смеётся.

— Вот, — говори́т, — и хорошо́! Тепе́рь на сва́дьбе хоть сиде́ть тебе́ и нельзя́, зато́ пляса́ть бу́дешь бо́льше . . .

Весёлый был пан, ей-Бо́гу, весёлый, эге́? Да то́лько по́сле скве́рное с ним случи́лось, не да́й Бог ни одному́ крещёному. Пра́во, никому́ тако́го не пожела́ю. Пожа́луй, да́же и жи́ду не сле́дует тако́го жела́ть. Во́т я что ду́маю . . .

Вот та́к-то Рома́на и жени́ли. Приве́з он молодую́ жи́нку в сторо́жку; снача́ла всё руга́л да попрека́л свои́ми канчу́ками.

— И сама ты, — говорит, — того не стоишь, сколько из-за тебя человека мордовали.

Придёт, бывало, из лесу и сейчас станет её из избы гнать:

— Ступай себе! Не надо мне бабы в сторожке! Чтоб и духу твоего не было! Не люблю, — говорит, — когда у меня баба в избе спит. Дух, — говорит, — нехороший.

Эгэ!

Ну, а после ничего, притерпелся. Оксана, бывало, избу выметет и вымажет чистенько, посуду расставит; блестит всё, даже сердцу весело. Роман видит: хорошая баба, — помаленьку и привык. Да и не только привык, хлопче, а стал её любить, ей-Богу, не лгу! Вот какое дело с Романою вышло. Как пригляделся хорошо к бабе, потом и говорит:

— Вот спасибо пану, добрую меня научил. Да и я ж так не умный был человек: сколько канчуков принял, а оно, как теперь вижу, ничего и дурного нет. Ещё даже хорошо. Вот оно что!

Вот прошло сколько-то времени, я и не знаю, сколько. Слегла Оксана на лавку, стала стонать. К вечеру занедужилось, а на утро проснулся я, слышу: кто-то тонким голосом «квилит»^{*)}). Эгэ! — думаю я себе, — это ж, видно, «дитына» родилась. А оно вправду так и было.

Не долго пожила дитына на белом свете. Только и жила, что от утра до вечера. Вечером и пищать перестала . . . Заплакала Оксана, а Роман и говорит:

— Вот и нету дитыны, а когда её нету, то незачем теперь и попа звать. Похороним под сосною.

^{*)} Квилит — плачет, жалобно пищит.

Вот как говорит Ромán, да не то, что говорит, а так как раз и сделал: вырыл могилку и похоронил. Вон там старый пенёк стоит, громом его спалило . . . Так то же и есть та самая сосна, где Ромán дитыну зарыл. Знаешь, хлопче, вот же я тебе скажу: и до сих пор, как солнце сядет и звезда-зорька над лесом стáнет, летает кака́я-то пташка, да и кричит. Ох, и жалобно квилит пташина, аж сердцу больно! Так это и есть некрещёная душа, — креста себе просит. Кто знающий человек, по книгам учился, то, говорят, может ей крест дать, и не стáнет она́ больше летать . . . Да мы вот тут в лесу живём, ничего не знаем. Она́ летает, она́ просит, а мы только и говорим: «геть-геть, бедная душа, ничего мы не можем сделать!» Вот заплачет и улетит, а потом и опять прилетает. Эх, хлопче, жалко бедную дýшу!

Вот въздоровела Оксáна, всё на могилку ходила. Сядет на могилке и плачет, да так громко, что по всему лесу, бывало, гóлос её ходит. Это она́ так свою дитыну жалела, а Ромán не жалел дитыну, а Оксáну жалел. Придет, бывало, из лесу, стáнет около Оксáны и говорит:

— Молчи уж, глупая ты баба! Вот было бы о чём плакать! Померла́ одна́ дитына, то, может, другая́ будет. Да ещё, пожа́луй, и лучшая, эгэ! Потому́ что та ещё, может, и не моя́ была́, я же-таки и не знаю. Люди́ говорят . . . А это́ будет моя́.

Вот уже́ Оксáна и не люби́ла, когда́ он так говорил. Перестáнет, бывало, плакать и начнёт его́ нехоро́шими слова́ми «лáять». Ну, Ромán на неё не сердился.

— Да и что́ же ты, — спрашивает, — лáешься? Я же ничего́ тако́го не сказа́л, а только́ сказа́л, что

не знаю. Потому и не знаю, что прежде ты не моя была и жила не в лесу, а на свете, промежду людей. Так как же мне знать? Теперь вот ты в лесу живёшь, вот и хорошо. А - так говорила мне баба Федосья, когда я за нею на село ходил: «Что-то у тебя, Роман, скоро дитына поспела!» А я говорю бабе: «Как же мне-таки знать, скоро ли, или не скоро?» . . . Ну, а ты всё же брось голосить, а то я осержусь, то ещё, пожалуй, как бы тебя и не побил.

Вот Оксана полает, полает его, да и перестанет.

Она его, бывало, и поругает, и по спине ударит, а как станет Роман сам сердиться, она и притихнет, — боялась. Приласкает его, обоймёт, поцелует и в очи заглянет . . . Вот мой Роман и угомонится. Потому . . . видишь ли, хлопче . . . Ты, должно-быть, не знаешь, а я, старик, хотя сам не женивался, а всё-таки видал на своём веку: молодая баба дюже сладко целуется, какого хочешь сердитого мужика может она обойти. Ой-ой . . . Я же-таки знаю, каковы эти бабы. А Оксана была гладкая такая молодница, что теперь я уже что-то таких больше не вижу. Теперь, хлопче, скажу тебе, и бабы не такие, как прежде.

Вот раз в лесу рожок затрубил: тра-та, тара-тара-та-та-та! . . . Так и разливается по лесу, весело да звонко. Я тогда малый хлопчик был и не знал, что это такое; вижу: птицы с гнезд поднимаются, крылом машут, кричат, а где и заяц пригнул уши на спину и бежит, что есть духу. Вот я и думаю: может, это зверь какой невиданный так хорошо кричит. А то же не зверь, а пан себе на конике лесом едет, да в рожок трубит; за паном доезжачие верхом и собак на сворах ведут. А всех доезжачих красивее Опанас Швидкий, за паном

в синем казакине гарцуёт; шапка на Опанáсе с золотым верхом, конь под ним играет, рушница за плечами блестит, и бандура на ремне через плечо повешена. Любил пан Опанáса, потому что Опанáс хорошо на бандуре играл и песни был мастер петь. Ух, и красивый же был парубок этот Опанáс, страх красивый! Куда было пану с Опанáсом равняться: пан уже и лысый был, и нос у пана красный, и глаза, хоть веселые, а всё не такие, как у Опанáса. Опанáс, бывало, как глянет на меня, — мне малому хлопчику, и то смеяться хочется, а я же не девка. Говорили, что у Опанáса отцы и деды запорожские козаки были, в Сечи козаковали, а там народ был всё гладкий, да красивый, да проворный. Да ты сам, хлопче, подумай: на коне ли со «списой»*) по полю птицей летать, или топором дерево рубить, это ж не одно дело . . .

Вот я выбежал из хаты, смотрю: подъехал пан, остановился, и доезжачие стали; Ромán из избы вышел, подержал пану стремя: ступил пан на землю. Ромán ему поклонился.

— Здорово! — говорит пан Ромáну.

— Эгэ, — отвечает Ромán, — да я ж, спасибо, здоров, чего мне делается? А вы как?

Не умел, видишь ты, Ромán пану как следует ответить. Дворня вся от его слов засмеялась и пан тоже.

— Ну, и слава Богу, что ты здоров, — говорит пан. — А где ж твоя жинка?

— Да где ж жинке быть? Жинка, известно, в хате . . .

— Ну, мы и в хату войдём, — говорит пан, — а вы, хлопцы, пока на траве ковёр постелите, да приготовьте

*) «Списа» — копье.

нам всё, чтобы было чем молодых на первый раз поздравить.

Вот и пошли в хату: пан и Опанас, и Роман без шапки за ним, да ещё Богдан — старший доезжачий, верный панский слуга. Вот уж и слуг таких теперь на свете нету: старый был человек, с дворней строгий, а перед паном как та собака. Никого у Богдана на свете не было, кроме пана. Говорят, как померли у Богдана батько с матерью, попросился он у старого пана на тягло и захотел жениться. А старый пан не позволил, приставил его к своему паничу: тут тебе, говорит, и батько, и мать, и жинка. Вот выносил Богданыч панича и выходил, и на коня выучил садиться, и из ружья стрелять. А вырос панич, сам стал пановать, старый Богдан всё за ним следом ходил, как собака. Ох, скажу тебе правду: много того Богдана люди проклинали, много на него людских слез пало . . . всё из-за пана. По одному панскому слову Богдан мог бы, пожалуй, родного отца в клочки разорвать . . .

А я, малый хлопчик, тоже за ними в избу побежал: известное дело, любопытно. Куда пан повернулся, туда и я за ним.

Гляжу, стоит пан посередь избы, усы гладит, смеётся. Роман тут же топчется, шапку в руках мнёт, а Опанас плечом об стенку упёрся, стоит себе, бедняга, как тот молодой дубок в непогодку. Нахмурился, невесел . . .

И вот они трое повернулись к Оксане. Один старый Богдан сел в углу на лавке, свесил чуприну, сидит, пока пан чего не прикажет. А Оксана в углу у печки стала, глаза опустила, сама раскраснелась вся, как тот мак середь ячменю. Ох, видно, чуяла небога, что из-за неё лихо будет. Вот тоже скажу тебе, хлопче:

ужé если три человека на одну бабу смóтрят, то от этого никогда добра не бывáет — непременно до чуба дéло дойдёт, коли не хуже. Я ж это знаю, потому что сам ви́дел.

— Ну, что, Ромáсю, — смеётся пан, — хорошую ли я тебе жинку вы́сватал?

— А что ж? — Ромán отвечает. — Баба, как баба, ничегó!

Повёл тут плечóm Опанáс, по́днял глаzá на Оксáну и говорít про себя:

— Да, — говорít, — баба! Хотя бы и не такому дурню достáлась.

Ромán услыхál это слóво, поверну́лся к Опанáсу и говорít ему́:

— А чем бы это я, пан Опанáс, вам за дурня показáлся? Эгэ, скажите-ка!

— А тём, — говорít Опанáс, — что не сумеешь жинку свою́ уберечь, тем и дурень . . .

Вот какóе слóво сказа́л ему́ Опанáс! Пан да́же ного́ю то́пнул, Богдán покача́л голово́ю, а Ромán подумал с мину́ту, потóм по́днял гóлову и посмотре́л на пана.

— А что ж мне её беречь? — говорít Опанáсу, а сам всё на пана смóтрит. — Здесь, крóме зве́ря, никакóго чóрта и нету, вот разве мило́стный пан когда́ завернёт. От когó же мне жинку беречь? Смотри ты, вражий коза́че, ты меня́ не дразни, а то я, пожа́луй, и за чупри́ну схвачу́.

Пожа́луй-таки и дошло́ бы у них дéло до потасóвки, да пан вмешáлся: то́пнул ного́й, — они́ и замолча́ли.

— Тише вы, — говорít, — бисовы дéти! Мы же сюда́ не для дра́ки приехали. На́до молодых поздравля́ть, а потóм, к вéчеру, на болóто охóтиться. Айда за мной!

Повернулся пан и пошёл из избы; а под деревом доезжачие уж и закуску сготовили. Пошёл за паном Богдан, а Опанас остановил Романа в сенях.

— Не сердись ты на меня, братику, — говорит козак. — Послушай, что тебе Опанас скажет: видел ты, как я у пана в ногах валялся, сапоги у него целовал, чтоб он Оксану за меня отдал? Ну, Бог с тобой, человек. . . Тебя поп окрутил, такая, видно, судьба! Так не стерпит же моё сердце, чтоб лютый ворог опять и над ней, и над тобой потешался. Гей-гей! Никто того не знает, что у меня на душе. . . Лучше же я и его и её из рушницы, вместо постели, уложу в сырую землю. . .

Посмотрел Роман на козакá и спрашивает:

— А ты, козаче, часом «с глúзду не съехал»?*)

Не слышал я, что Опанас на это стал Роману тихо в сенях говорить, только слышал, как Роман его по плечу хлопнул.

— Ох, Опанас, Опанас! Вот какой на свете народ злой да хитрый! А я же ничего того, живучи в лесу, и не знал. Эге, пане, пане, лихо ты на свою голову затеял! . . .

— Ну, — говорит ему Опанас, — ступай теперь и не показывай виду, пуще всего перед Богданом. Не умный ты человек, а эта панская собака хитра. Смотри же: панской горелки много не пей, а если отправит тебя с доезжачими на болото, а сам захочет остаться, веди доезжачих до старого дуба и покажи им объездную дорогу, а сам, скажи, напрямик пойдёшь по лесу. . . Да поскорее сюда возвращайся.

*) «С глúзду съехать» — сойти с ума.

— Дóбре, — говорит Ромáн. — Соберусь на охóту, рушницу не дрóбью заряжу́ и не «лёткой» на птíцу, а дóброю пúлей на медвéдя . . .

Вот и онí вы́шли. А уж пан сидит на коврё, велел подáть фляжку и чáрку, наливáет в чáрку горёлку и подчивает Ромáна. Эгé, хорошá была у пáна и фляжка, и чáрка, а горёлка ещё лúчнее. Чáрочку вы́пнешь — душá рáдуется, другúю вы́пнешь — сёрдце скáчет в груди́, а ёсли человек непривы́чный, то с трéтьей чáрки и под лáвкой валя́ется, коли́ бáба на лáвку не уложит.

Эгé, говорю́ тебе́, хитрый был пан! Хотел Ромáна напоить своёю горёлкой дó-пьяна, а ещё тако́й и горёлки не бывáло, чтóбы Ромáна свали́ла. Пьёт он из пáнских рук чáрку, пьёт и другúю, и трéтью вы́пил, а у самогó тóлько глазá, как у вóлка, загорáются, да усом чёрным повóдит. Пан дáже осердился.

— Вот же врáжий сын, как здóрово горёлку хлещет, а сам и не моргнёт гла́зом! Другóй бы уж давнó запла́кал, а он, глядíte, дóбрые лúди, ещё усмехáется . . .

Знал же врáжий пан хорошó, что ёсли уж человек от горёлки запла́кал, то скóро и совсём чуприну́ на стол свесит. Да на тóт раз не на тако́го напáл.

— А с чего́ ж мне, — Ромáн ему́ отвеча́ет, — пла́кать? Дáже, пожа́луй, ёто нехорошó бы бы́ло. Приехал ко мнé мило́стный пан поздравля́ть, а я бы-таки и нáчал реветь, как бáба. Слáва Бóгу, не от чего́ мне ещё пла́кать, пуска́й лúчше мо́й вóроги плачут . . .

— Значит, — спра́шивает пан, — ты дово́лен?

— Эгé! А чем мне быть недово́льным?

— А пóмнишь, как мы тебя́ канчука́ми свáтали?

— Кáк-таки не пóмнить! Отó ж и говорю́, что не умный человек был, не знáл, что горько, что слáдко.

Канчук горек, а я его лучше бабы любил. Вот спасибо вам, милостивый пане, что научили меня, дурня, мед есть.

— Ладно, ладно, — пан ему говорит. — За то и ты мне послужи: вот пойдёшь с доезжачими на болото, настреляй побольше птиц, да непременно глухого тетерева достань.

— А когда ж это пан нас на болото посылает? — спрашивает Роман.

— Да вот выпьем ещё. Опанас нам песню споёт, да и с Богом.

Посмотрел Роман на него и говорит пану:

— Вот уж это и трудно: порá не ранняя, до болота далеко, а ещё, вдобавок, и ветер по лесу шумит, к ночи будет буря. Как же теперь такую сторожку птицу убить?

А уж пан захмелел, да во хмелю был крепко сердитый. Услышал, как дворян промеж себя шептаться стала, говорят, что, мол, «Романова правда, загудёт скоро буря», — и осердился. Стукнул чаркой, повёл глазами, — все и стихли.

Один Опанас не испугался; вышел он, по панскому слову, с бандурой песни петь, стал бандуру настраивать, сам посмотрел сбоку на пана и говорит ему:

— Опомнись, милостивый пане! Где же это видано, чтобы к ночи, да ещё в бурю, людей по тёмному лесу за птицей гонять?

Вот он какой был смелый! Другие, известное дело, панские «крепаки», боятся, а он — вольный человек, козацкого рода. Привёл его небольшим хлопцем старый козак-бандурист с Украйны. Там, хлопче, люди что-то нашумели в городе Умани. Вот старому козаку вы-

кололи óчи, обрѣзали ўши и пусти́ли его́ тако́го по свѣту.

Ходи́л он, ходи́л по́сле того́ по городáм и сѣлам и забрѣл в нáшу стóрону с поводырѣм, хлѣпчиком Опанáсом. Стáрый пан взял его́ к себѣ, потому́ что люби́л хоро́шие пѣсни. Вот стариќ умер, — Опанáс при дворѣ и вы́рос. Люби́л его́ нѡвый пан тѡже и терпѣл от него́ порѡй тако́е слѡво, за котѡрое другѡму спусти́ли бы три шку́ры.

Так и тепѣрь: осерди́лся бы́ло сначала, думáли, что он козакá удáрит, а по́сле говорит Опанáсу:

— Ой, Опанáс, Опанáс. У́мный ты хлѣпец, а того́, ви́дно, не зна́ешь, что меж дверѣй не нáдо нѡса совáть, чтобы́ кáк-нибудь не захлѣпнули . . .

Вот он какóю загадáл зага́дку! А козák-таки срáзу и пѡнял. И отвѣтил козák пáну пѣсней. Ой, кабы́ и пан пѡнял козáцкую пѣсню, то, мѡжет бы, его́ пáни над ним не разли́валась слезáми.

— Спаси́бо, пáне, за на́уку, — сказа́л Опанáс, — вот же я тебѣ за тѡ спою́, а ты слúшай.

И удáрил по струнáм банду́ры.

Потѡм пѡднял гѡлову, посмотре́л на нѣбс, как в нѣбе орѣл ширя́ет, как вѣтер тѣмные тучи гоня́ет. Настáвил ўхо, послу́шал, как высо́кие сѡсны шумя́т . . .

И опя́ть удáрил по струнáм банду́ры.

Эй, хлѣпче, не довелось тебѣ слы́шать, как игра́л Опанáс Швидкий, а тепѣрь уж и не услы́шишь! Вот же и не хитра́я штука́ банду́ра, а как она́ у зна́ющего чело́века хоро́шѡ говорит. Бывáло, пробежит по нѣй руко́ю, она́ ему́ всё и ска́жет: как тѣмный бор в непогѡду шуми́т, и как вѣтер звени́т в пусто́й степи́ по бурья́ну, и как сухáя травинка шѣпчет на высо́кой козáцкой моги́ле.

Нет, хлопче, не услыхать уже вам настоящую игру! Ёздыт теперь сюда всякие люди, такие, что не в одном Полесье бывали, но и в других местах, и по всей Украйне: и в Чигирине, и в Полтаве, и в Кйеве, и в Черкасах. Говорят, вывелись уж бандуристы, не слышно их уже на ярмарках и на базарах. У меня ещё на стене в хате старая бандура висит. Выучил меня играть на ней Опанас, а у меня никто игры не перенял. Когда я умру, — а уж это скоро, — так, пожалуй, и нигде уже на широком свете не слышно будет звона бандуры. Вот оно что!

И запел Опанас тихим голосом песню. Голос был у Опанаса не громкий, да «сумный»*), — так, бывало, в сердце и льётся. А песню, хлопче, козак, видно, сам для пана придумал. Не слышал я её никогда больше, и когда после, бывало, к Опанасу пристану, чтобы спел, он всё не соглашался. — Для кого, — говорят, — та песня пелась, того уже нету на свете.

В той песне козак пану всю правду сказал, что с паном будет, и пан плачет, даже слёзы у пана текут по усам, а всё же ни слова, видно, из песни не понял.

Ох, не помню я эту песню, помню только немного.

Пел козак про пана, про Ивана:

Ой пане, ой Иване! . . .

Умный пан, много знает . . .

Знает, что ястреб в небе летает, ворон побивает . . .

Ой пане, ой Иване! . . .

А того ж пан не знает,

Как на свете бывает, —

Что у гнезда и ворона ястреба побивает . . .

*) Украинское слово *сумный* совмещает в себе понятия, передаваемые по-русски словами: грустный и задумчивый.

Вот же, хлопче, будто и теперь я эту песню слышу и тех людей вижу: стоит козак с бандурой, пан сидит на ковре, голову свесил и плачет; дворня кругом столпилась, поталкивают один другого локтями; старый Богдан головой качает . . . А лес, как теперь, шумит, и тихо да сумно звенит бандура, а козак поёт, как пани плачет над паном, над Иваном:

Плачет пани, плачет,
А над паном над Иваном чёрный ворон кричет.

Ох, не понял пан песни, вытер слёзы и говорит:
— Ну, собирайся, Роман! Хлопцы, садитесь на коней! И ты, Опанас, поезжай с ними, — будет уж мне твоих песен слушать! . . . Хорошая песня, да только никогда того, что в ней поётся на свете не бывает.

А у козака от песни размякло сердце, затуманились очи.

— Ох, пане, пане, — говорит Опанас, — у нас говорят старые люди: в сказке правда и в песне правда. Только в сказке правда — как железо: долго по свету из рук в руки ходило, заржавело . . . А в песне правда — как золото, что никогда его ржа не ест . . . Вот, как говорят старые люди!

Махнул пан рукой.

— Ну, может, так в вашей стороне, а у нас не так . . . Ступай, ступай, Опанас, — надоело мне тебя слушать.

Постоял козак с минуты, а потом вдруг упал перед паном на землю:

— Послушай меня, пане! Садись на коня, поезжай к своей пани: у меня сердце недоброе чует.

Вот уж тут пан осердился, толкнул козака, как собаку, ногой.

— Иди́ ты от меня́ прочь! Ты, ви́дно, не коза́к, а ба́ба! Иди́ ты от меня́, а то как бы с тобо́й не́ было ху́до . . . А вы что ста́ли, ха́мово плéмя? Иль я не па́н вам бо́льше? Вот я вам тако́е покажу́, чего́ и ва́ши ба́тьки от мо́их ба́тько́в не ви́дали! . . .

Встал Опана́с на́ ноги, как те́мная ту́ча, с Рома́ном перегляну́лся. А Рома́н в сторо́не стои́т, на рушниц́у облокоти́лся, как ни в чём не бы́вало.

Уда́рил коза́к банду́рой об де́рево, — банду́ра в дре́безги разлетéлась, то́лько стон поше́л от банду́ры по́ лесу.

— А пуска́й же, — говори́т, — че́рти на том све́те учат тако́го челове́ка, кото́рый разу́мную ра́ду не слýшает . . . Тебе́, па́не, ви́дно, ве́рного слуги́ не на́до.

Не успе́л пан отве́тить, вскочи́л Опана́с в седло́ и поéхал. Доезжа́чие то́же на коне́й се́ли. Рома́н вски́нул рушниц́у на плéчи и поше́л себе́, то́лько, проходя́ мимо сторо́жки, кри́кнул Окса́не:

— Уложи́ хлопчи́ка, Окса́на! Пора́ ему́ спать. Да и па́ну стото́вь постéлю.

Вот ско́ро и ушли́ все в лес вон по то́й доро́ге; и пан в ха́ту уше́л, то́лько па́нский конь стои́т себе́, под де́ревом приви́зан. А уж и темне́ть нача́ло, по́ лесу шум иде́т и до́ждик накра́пывает, вóт-таки совсе́м, как тепе́рь . . . Уложи́ла меня́ Окса́на на сенова́ле, пере́крести́ла на́ ночь . . . Слы́шу я, мо́я Окса́на пла́чет.

Ох, ничегó-то я тогда́, ма́лый хлопчи́к, не понима́л, что кругóм меня́ твори́тся! Сверну́лся на се́не, послу́шал, как бу́ря в лесу́ пéсню заводи́т, и стал засыпа́ть.

Эге́! Вдруг слы́шу, кто́-то о́коло сторо́жки ходи́т . . . подоше́л к де́реву, па́нского коня́ отвяза́л. Захрапéл конь, уда́рил копы́том; как пусти́лся в лес, ско́ро и

топот зати́х . . . Потом слы́шу, опять кто́-то по доро́ге ска́чет, уже́ к сторо́жке. Подскака́л впло́ть, соскочи́л с седа́ на зе́млю и пра́мо к окну́:

— Па́не, па́не! — кричи́т го́лосом ста́рого Богда́на.
— Ой па́не, отвори́ скорей! Бра́жий коза́к ли́хо заду́-мал, ви́дно: твоего́ ко́ня в лес отпусти́л.

Не успе́л стари́к догово́рить, кто́-то его́ сза́ди схвати́л. Испуга́лся я, слы́шу — что́-то упа́ло . . .

Отвори́л пан две́ри, с ру́шницей вы́скочил, а уж в се́нях Рома́н его́ захвати́л, да пра́мо за чуб, да об зе́млю . . .

Вот, ви́дит пан, что ему́ ли́хо, и говори́т:

— Ой, отпусти́, Рома́сю! Та́к-то ты моё до́бро по́мнишь?

А Рома́н ему́ отвеча́ет:

— По́мню я, бра́жий па́не, твое́ до́бро и до меня́ и до моёй жи́нки. Вот же я тебе́ тепе́рь за до́бро заплачу́ . . .

А пан говори́т опять:

— Засту́пись, Опа́нас, мой ве́рный слуга́! Я ж тебя́ люби́л, как родно́го сы́на.

А Опа́нас ему́ отвеча́ет:

— Ты свое́го ве́рного слугу́ прогна́л, как соба́ку. Люби́л меня́ та́к, как па́лка лю́бит спи́ну, а тепе́рь та́к лю́бишь, как спи́на па́лку . . . Я ж тебя́ проси́л и моли́л, — ты не послу́шался . . .

Вот стал пан тут и Окса́ну проси́ть:

— Засту́пись ты, Окса́на, у тебя́ се́рдце до́брое.

Вы́бежала Окса́на, всплесну́ла рука́ми:

— Я ж тебя́, па́не, проси́ла, в но́гах валя́лась: пожа́лей мою́ деви́чью красу́, не позо́рь меня́, му́жнюю жену́. Ты же не пожа́лел, а тепе́рь сам про́сишь . . .
Ох, ли́шенько мне, что же я сде́лаю?

— Пустите, — кричит опять пан, — за меня вы все погйбнете в Сибири . . .

— Не печалься за нас, пане, — говорит Опанас: — Ромán будет на болоте раньше твоих доезжачих, а я, по твоёй милости, один на свете, мне о своей голове думать не долго. Вскйну рушницу за плечи и пойду себе в лес . . . Наберу проворных хлопцев, и будем гулять . . . Из лесу станем выходить ночью на дороге, а когда в село забредём, то прямо в панские хоромы. Эй, подымай, Ромасю, пана, вынесем его милость на дождик.

Забился тут пан, закричал, а Ромán только ворчит про себя, как медведь, а козак насмехается. Вот и вышли.

А я испугался, кинулся в хату и прямо к Оксане. Сидит моя Оксана на лавке — белая, как стена . . .

А по лесу уже загудела настоящая буря: кричит бор разными голосами, да ветер вбёт, а когда и гром полыхнёт. Сидим мы с Оксаной на лежанке, и вдруг слышу я, кто-то в лесу застонал. Ох, да так жалобно, что я до сих пор, как вспомню, то на сердце тяжело станет, а ведь уже тому много лет . . .

— Оксано, — говорю, — голубонько, а кто ж это там в лесу стонет?

А она схватила меня на руки и качает:

— Спи, — говорит, — хлопчику, ничего! Это так . . . лес шумит . . .

А лес и вправду шумел, ох, и шумел же!

Просидели мы ещё сколько-то времени, слышу я: ударило по лесу будто из рушницы.

— Оксано, — говорю, — голубонько, а кто ж это из рушницы стреляет?

А она, небога, всё меня качает и всё говорит:

— Молчи, молчи, хлопчику, то гром Божий ударил в лесу.

А сама всё плачет и меня крепко к груди прижимает, баюкает: «Лес шумит, лес шумит, хлопчику, лес шумит» . . .

Вот я лежал у неё на руках и заснул . . .

А на утро, хлопче, прокинулся, гляжу: солнце светит, Оксана одна в хате одетая спит. Вспомнил я вчерашнее и думаю: это мне такбе приснилось.

А оно не приснилось, ой, не приснилось, а было направду. Выбежал я из хаты, побежал в лес, а в лесу птички щебечут, и роса на листьях блестит. Вот добежал до кустов, а там и пан, и доезжачий лежат себе рядом. Пан спокойный и бледный, а доезжачий седой, как голубь, и строгий как раз будто живой. А на груди и у пана и у доезжачего кровь.

— Ну, а что же случилось с другими? — спросил я, видя, что дед опустил голову и замолк.

— Эге! Вот же всё так и сделалось, как сказал козак Опанас. И сам он долго в лесу жил, ходил с хлопцами по большим дорогам, да по панским усадьбам. Такая козаку судьба на роду была написана: отцы гайдамачили, и ему то же на долю выпало. Не раз он, хлопче, приходил к нам в эту самую хату, а чаще всего, когда Романа не бывало дома. Придет, бывало, посидит и песню споет, и на бандуре сыграет. А когда и с другими товарищами заходил, — всегда его Оксана и Роман принимали. Эх, правду тебе, хлопче, сказать, так и не без греха тут было дело. Вот придут скоро из лесу Максим и Захар, посмотри ты на них обих: я ничего им не говорю, а только, кто знал Ро-

мана и Опанаса, тому сразу видно, который на которого похож, хотя они уже тем людям не сыны, а внуки . . . Вот же какие дела, хлопче, бывали на моей памяти в этом лесу . . .

А шумит же лес крепко, — будет буря! . . .

III.

Последние слова рассказа старик говорил как-то устало. Очевидно, его возбуждение прошло и теперь сказывалось утомлением: язык его заплетался, голова тряслась, глаза слезились.

Вечер спустился уже на землю, в лесу потемнело, бор волновался вокруг сторожки, как расходившееся море; тёмные вершины колыхались, как гребни волн в грозную непогоду.

Весёлый лай собак возвестил приход хозяев. Оба лесника торопливо подошли к избушке, а вслед за ними запыхавшаяся Мотря пригнала затерявшуюся было корову. Наше общество было в сборе.

Через несколько минут мы сидели в хатъ; в печи весело трещал огонь; Мотря собрала «вечерять».

Хотя я не раз видел прежде Захара и Максима, но теперь я взглянул на них с особенным интересом. Лицо Захара было тёмно, брови срослись под крутым низким лбом, глаза глядели угрюмо, хотя в лице можно было различить природное добродушие, присущее силе. Максим глядел открыто, как будто ласкающими серыми глазами; по временам он встряхивал своими курчавыми волосами, его смех звучал как-то особенно заразительно.

— А чи не расказывал вам старік, — спросіл Максім, — старую бывальщину про нашого дэда?

— Да, расказывал, — отвечал я.

— Ну, он всегда вот так! Лес зашумит покрепче, ему старое и вспоминается. Теперь всю ночь никак не заснёт.

— Совсем малá дитына, — добавила Мотря, наливая старику щей.

Старик как будто не понимал, что речь идёт именно о нём. Он совсем опустил ся, по временам бессмысленно улыбался, кивая головой; только когда снару́жи налетал на избу́шку порыв бушевавшего по лесу ветра, он начинал тревожиться и наставлял ухо, прислушиваясь к чему-то с испуганным видом.

Вскóре в лесной избу́шке всё смóкло. Тускло свети́л угасающий каганец*), да сверчок звонил свою однообразно-крикливую песню . . . А в лесу, казалось, шёл говор тысячи могучих, хотя и глухих голосов, о чём-то грозно перекликавшихся во мраке. Казалось, какая-то грозная сила ведёт там, в темноте, шумное совещание, собираясь со всех сторон ударить на жалкую, затерянную в лесу хибарку. По временам смутный рокот усиливался, рос, приливал, и тогда дверь вздрагивала, точно кто-то, сердито шипя, напирает на неё снару́жи, а в трубе ночная вьюга с жалобной угрозой выводила за сердце хватающую нóгу. Потом на время порывы бури смолкали, роковая тишина томилá робеющее сердце, пока опять подымался гул, как будто старые сосны сговаривались сняться вдруг с своих мест и уле-

*) *Каганец* — черепок, в который наливают сало и кладут светильню.

тётъ в неведомое пространство вмѣсте с размахами
ночного урагана.

Я забылся на несколько минут смутною дремотой,
но, кажется, не надолго. Буря была в лесу на разные
голоса и тоны. Каганец всплывал по временам,
освещая избушку. Старик сидел на своей лавке и шарил
вокруг себя рукой, как будто надеясь найти кого-то
по близости. Выражение испуга и почти детской бес-
помощности виднелось на лице бедного дѣда.

— Оксано, голубонько, — расслышал я его жалоб-
ный ропот, — а кто ж это там в лесу стонет?

Он тревожно шарил рукой и прислушался.

— Эгэ! — говорил он опять, — никто не стонет.
То буря в лесу шумит . . . Больше ничего, лес шумит,
шумит . . .

Прошло ещё несколько минут. В маленькие окна то
и дело заглядывали синеватые огни молнии, высокие
деревья всплывали за окном призрачными очертани-
ями и опять исчезали во тьме среди сердитого вор-
чания бури. Но вот резкий свет на мгновение затмил
блѣдные вспышки каганца, и по лесу раскатился от-
рывистый недалёкий удар.

Старик опять тревожно заметался на лавке.

— Оксано, голубонько, а кто ж это в лесу стреляет?

— Спи, старик, спи, — послышался с пѣчки спо-
койный голос Мотри. — Вот всегда так: в бурю по но-
чам всё Оксану зовёт. И забыл, что Оксана уж давно
на том свете. Ох-хо!

Мотря зевнула, прошептала молитву, и вскоре опять
в избушке настала тишина, прерываемая лишь шумом
леса, да тревожным бормотаньем дѣда:

— Лес шумит, лес шумит . . . Оксано, голубонько . . .

Вскóре удáрил тяжёлый ливень, покрывáя шúмом
дождевých потóков и порывáния вéтра и стóны соснó-
вого бóра . . .

1885 г.

Хорошая книга — лучший друг.

Книгоиздательство „ХУТОР“ приступило к изданию отдельных избранных произведений русских классиков, которые выпускаются в виде небольших изящных книжечек. Книжки набираются по новой орфографии с обозначением ударений.

В первую очередь выпущены из печати:

За границу ам. долл.:

1. А. С. Пушкин: «Пиковая дама» 0.15
2. И. С. Тургенев: «Пожар на море». «Бирюк» . . . 0.15
3. А. С. Пушкин: Барышня-крестьянка» 0.15
4. И. С. Тургенев: «Муму». «Перепелка». 0.15
5. А. С. Пушкин: «Станционный смотритель». «Метель» 0.15
6. А. С. Пушкин: «Выстрел». «Гробовщик» 0.15
7. Н. В. Гоголь: «Тарас Бульба». 0.60
8. Н. В. Гоголь: «Ревизор» 0.35
9. Л. Н. Толстой: «Кавказский пленник» 0.15
10. М. Ю. Лермонтов: «Стихотворения» 0.15
11. А. П. Чехов: «Рассказы» I. 0.15
12. И. А. Крылов: «Басни» 0.15
13. В. Г. Короленко: «Лес шумит». 0.15
14. А. П. Чехов: «Рассказы» II. 0.15
15. В. И. Немирович-Данченко: «Рассказы» 0.15
16. «Русское Слово», учебник русского языка для чехов.
Состав.: Д-р А. Л. Бем, Д-р В. Мелихар, Д-р С. И. Варшавский. 40.— крон.

Заказы следует направлять по адресу издательства:

Nakladatelství „CHUTOR“, A. G. Wynnyczuk,

Praha XI., Jagelonská ul. č. 24. — Telefon 500-26.